

Человек в коллективе

Н. Шамота

Советская литература давно отразила тот факт, что опыт революционной борьбы и строительства социализма породил нечто новое в нравственных взглядах молодого советского общества — чувство коллективизма, коллективистские нормы общежития. Во многих книгах показано становление в сознании народов нашей страны этого прекрасного человеческого качества, которое, может быть, больше, чем что бы то ни было другое, возвышает нас над буржуазным миром, где господствовала и продолжает господствовать мораль заматерелых хищников: человек человеку — волк.

Мы знаем: тому, что ново, недостаточно одних восторгов — его нужно оберегать и укреплять. В области морали, не меньше, чем в любой другой, новое встречается в штыки старым. Было бы странно, если бы эта борьба не коснулась такого важного вопроса социалистической морали, как коллективизм и коллективные формы общественной жизни. И действительно, они непрерывно подвергались и подвергаются ожесточенным нападкам. Враги социализма испытали множество приемов в этой борьбе — от самых примитивных, вроде выдумки о «коллективных женах», и до рассчитанных на интеллигентствующего мещанина басен о том, будто бы социалистический коллективизм лишает человека его индивидуальности и подавляет личную свободу.

Да, новое надо защищать и развивать. Но легче всего прослыть проницательным, когда новое и старое находятся в двух противоположных лагерях, по разные стороны баррикад. По-настоящему же испытывается проницательность художника, когда борьба между новым и старым разворачивается в сложной форме, когда старое будто бы отрекается от своего прошлого, становится иной раз внешне «новее нового» и начинает паразитировать на нем.

Современный мещанин — а он живет, он часто рядом с нами — хорошо понимает, что по излюбленному правилу «моя хата с краю» ныне не проживешь, что так и на самом деле можно оказаться «с краю», за бортом жизни. И он норовит в гущу, умудряется оказаться на виду, выдать себя стопроцентным коллективистом и, где только ему удастся, проникнуть в какие-нибудь руководящие органы коллектива. Свои мещанские вождедения — карьеризм, шкурничество, эгоизм — он старается прикрыть авторитетом коллектива, использовать этот авторитет в интересах, так сказать, частной инициативы. А правило «моя хата с краю» он оставляет на тот случай, когда его призывают к ответу. Многие из нас встречались с подобными явлениями в жизни, по крайней мере, с попытками отдельных лиц использовать авторитет коллектива в шкурнических интересах. Но ничего неожиданного в этом нет для более или менее житейски опытного человека. Факты искажения коллективных начал жизни ничего не говорят против самих принципов коллективизма. Они, эти принципы, обязывают нас всемерно укреплять и это наше завоевание, делать его неприсутственным для проникновения того, что вредит делу социализма.

Взаимоотношения личности и общества, личного и общественного были и остаются самой сложной областью человеческих отношений. Исчезновение экономической почвы антагонизма между людьми, которая

была и почвой антагонизма между личностью и обществом, не снимает само по себе, автоматически противоречий между личным и общественным в условиях социализма. Дело обстоит значительно сложнее. Противоречия возникают сплошь и рядом, и нельзя их обходить, тем более упрощать. Понадобится еще немало работы, особенно воспитательной, чтобы правильно решать возникающие в этой области конфликты, предупреждать их, укреплять и развивать благородные чувства коллективизма, уважения к людям. А поскольку речь идет о морали, о нравственных устоях нашей советской жизни, народ и его партия вправе рассчитывать на самую активную помощь своей литературы, своих художников.

В настоящее время, особенно после XX съезда Коммунистической партии, в печати и в ряде художественных произведений широко обсуждаются вопросы коллективизма, отношения личности и коллектива — преимущественно недостатки, теневые стороны в этой области. Это, конечно, хорошо. Но в ряде случаев обсуждению проблемы придается, мягко говоря, не самый плодотворный поворот. Борясь против упрощений, против формального толкования вопросов взаимоотношений личности и коллектива, авторы иной раз сами допускают упрощения. Однако не будем торопиться с выводами.

Пауэр Севак в поэме «Нелегкий разговор»¹ берет тему личность и коллектив, можно сказать, в частном, личном аспекте. Его взволновал случай весьма сложных взаимоотношений личности и коллектива, случай, дающий возможность показать тонкие душевные движения человека, его сокровенные думы и чувства. Поэма привлекла внимание читателей и вызвала споры. Спустя четыре месяца после опубликования поэмы в «Новом мире» (перевод Евг. Евтушенко) на страницах этого же журнала (в № 10) был напечатан критический отзыв В. Ребрин. Критик заметил, что у героя поэмы слишком странное и, как он выразился, безответственное отношение к любви, что, судя по всему, это чувство относится автором к тем, которые неподвластны разуму. Поведение лирического героя до того возмутило тов. Ребрин, что он прибег к крайним средствам: заклеил его цитатой из Маяковского насчет «всяческих охотников до наших жен». Там же был напечатан ответ В. Герасимовой, которая считает критику поэмы П. Севака от начала до конца ханжеской. Но вот чего не заметили ни В. Ребрин, ни В. Герасимова, да, пожалуй, и журнал: того, что поэма написана не только о том, о чем они спорили. Поэма ставит вопрос не о том, имеет ли право молодой человек влюбиться в замужнюю женщину, а значительно шире: имеет ли право коллектив, не формальное, а моральное право судить о личной жизни своего члена и вмешиваться своими советами и требованиями в такие деликатные отношения, как любовь и брак.

С этого и начинается поэма «Нелегкий разговор»: герой выходит с собрания, где ему посоветовали «порвать отношения» с замужней женщиной, чтобы не разрушать ее семьи, и клянет себя, собрание, все и вся. Герой поэмы, как видно, находится в состоянии крайнего возбуждения. Вероятно, в коллективе нашлись люди, которым не хватило душевной деликатности, чтобы судить о сложных и достойных уважения чувствах. Но читаешь поэму дальше, слушаешь ее героя, и постепенно возникает неприятное чувство встречи с заносчивым, зазнавшимся, самовлюбленным человеком.

Он, оказывается, дал слово собранию, хотя не верил, что сдержит его, и тут же находит оправдание себе: он «слово дал не людям, а словам». Ведь там были, по его мнению, не живые люди, а «сухари», слепо верящие «кажущимся истинам». Понравились ему только два выступления: «Разумней сердца нету ничего!» и особенно: «Нельзя ко всем дверям с одним ключом», — вероятно, потому, что они поддержали его мнение о

¹ См. «Новый мир», 1956 г., № 6.

своей собственной сложности и самости! Героя оскорбляет даже мысль о том, что о его поступках могут судить товарищи по работе. «Советуйте другим, — развязно заявляет он. — Я вам не жидкость, чтоб форму по посуде принимать». Он вам не какой-нибудь *другой*, он *сам*, он *один*.

Герой поэмы не щадит красноречия, когда говорит о «них», о «других», о «всех», и не пытается скрывать свое пренебрежение к ним. «Все, *сговорившись, бубнят*, как один», — говорит он о тех, кто напоминает, что у той женщины есть ребенок и любящий муж. «*Пускай натаскают в усердьи хоть с воз* списков его положительных свойств», — ему на это наплевать. «Он хороший, а я — плохой?!» — негодует он. Ведь сказать в присутствии мещанина о ком-нибудь хорошее слово, это все равно, что бросить перед быком красное полотнище. Логика личной обиды уводит героя так далеко, что он не останавливается перед обвинением *всех* в моральном падении и готов разнести по всем базарам сплетню о том, что те, кто дает ему советы, нападают на него только потому, что он не умеет скрывать, как умеют они, свои измены и свое распутство.

В конце «разговора» герой делает, как ему кажется, самое сильное открытие: в мире, где ни одна живая душа не хочет понять возвышенных чувств, только сильные, как он и она, люди могут сохранить «святой дух» в сердце. «В любви необходимо нам героичество, необходимо, как и на войне». Так герой поэмы, устояв против коллектива, против его «казенной», «официальной» морали, стал в глазах поэта и, конечно, в своих собственных глазах героем. Сомнительные лавры!

Мы хорошо понимаем, что область личных, интимных, семейных отношений — очень сложная область. Неумелое, нечуткое вмешательство в эти отношения может нанести людям глубокие душевные раны и еще больше ухудшить дело. В решении этих вопросов исключается шаблон. Одна и та же коллизия, в данном случае любовь к замужней женщине, не может быть решена по заранее данному рецепту. И точка зрения коллектива на этот случай может быть выработана только на основе внимательного и чуткого учета всех обстоятельств.

Конечно, в жизни иногда может сложиться такое конкретное обстоятельство, что в данном коллективе по какой-либо причине побеждает односторонняя, неправильная точка зрения. Тогда художник должен показать нам недостатки этого конкретного коллектива. Но в поэме не говорится о плохом, равнодушном коллективе, что такой коллектив — тяжелая для героя случайность. И получается, что вопрос ставится «в принципе», «вообще», и герой поэмы, так сказать, принципиально отвергает право общества вмешиваться в *его личные дела*, отрицает возможность общественной точки зрения в подобных случаях. Мы признаем право героя не согласиться с мнением такого коллектива, который стоит на неправильных позициях. Было бы неправильно представлять дело таким образом, будто в конфликте между личностью и коллективом правда во всех случаях на стороне последнего. Но свою точку зрения советский человек отстаивает не с позиций мелкобуржуазного эгоцентризма, а опираясь на коммунистические принципы, с позиций социалистического коллективизма. В конкретном случае отдельный коллектив может быть и неправ. Но в конечном счете в жизни правда всегда остается на стороне коллектива. Именно в этом и сложность постановки подобных вопросов. Именно поэтому и необходимо заботиться о воспитании коллектива, чувств коллективизма у каждого человека. В поэме «Нелегкий разговор» этот конфликт представляется в упрощенном виде как неразрешимый.

Но если бы в поэме было показано, что коллектив, в котором живет герой, в силу сложившихся обстоятельств оказывается плохим, равнодушным и не может разобраться в действительно сложных судьбах своих членов, то и в этом случае поведение героя, его озлобленные нападки *на всех, на других*, его протесты против принятых форм общежития имели бы лишь то оправдание, что они высказаны в состоянии, близком

к аффекту. Но автор не замечает этого состояния. Все рассуждения героя кажутся, видимо, ему естественными, нормальными. Известно, что разумным, порядочным людям впоследствии бывает совестно за то, что они наговорят под горячую руку. Не заметно, однако, чтобы герой поэмы готов был устыдиться своих непомерных обобщений и способен был к более глубокому раздумьям о жизни и людях. А это сильно вредит образу, ибо заставляет сомневаться: ее ли он любит? Не себя ли больше?

Коммунистическая партия делает все для того, чтобы всюду рядовому гражданину нашей страны оказывалось больше доверия, чтобы решительно ломалось все бюрократическое, что сковывает человека и порой причиняет ему боль. Не только личность обязана прислушиваться к мнению коллектива, считаться с ним, но и коллектив должен быть чутким, гибким человеческим организмом. Формальное, бюрократическое отношение к человеку никогда не определяло и не могло в силу объективных законов социализма определять наши общественные отношения. Забота о судьбе человека — уже не добрые пожелания филантропов, а закон жизни социалистического общества. Случай формального, равнодушного отношения к человеку не есть признак несовершенства нового общества, а признак того, что, вышедшее из старого, оно не может сразу и легко освободиться от его уродств. История никогда не знала таких общественных форм, которые гарантировали бы действительную свободу личности. То, до чего она дошла в досоциалистическом обществе, называется буржуазным индивидуализмом, означающим не что иное, как право сильных и наглых подчинять и поработать других. Социализм нашел новые формы общежития — это коллективные формы труда и управления страной, коллективные формы защиты подлинных интересов личности. Задача заключается в том, чтобы совершенствовать и развивать принципы социалистического коллективизма в интересах все большего развития способностей, возможностей каждого человека, расцвета социалистической личности. Но полагать, будто принципы коллективизма, в конечном счете, ни к чему не обязывают личность и она может лишь пользоваться ими по своему усмотрению и когда ощущает потребность в их помощи, — значит становиться на позиции мещанского индивидуализма, уродующего личность.

Пару́йра Севака заинтересовал действительно сложный случай конфликта между человеком и коллективом в частной жизни. Но поэме, на наш взгляд, недостает вдумчивого суждения автора о своем герое, о случае с ним. Потому «Нелегкий разговор» оказывается все-таки облегченным.

А. Яшин в рассказе «Рычаги», опубликованном во втором сборнике «Литературная Москва» (1956 год), берет материал из общественной жизни и, должно быть, претендует на более широкие обобщения. Попробуйте представить себе такую картину. Четверо сельских коммунистов, по словам писателя, простых, сердечных людей, сидят вечером в правлении колхоза и неторопливо, покуривая, ведут беседу «обс всем понемногу и доверительно, без всяких оглядок, как старые добрые товарищи». Председатель колхоза жалуется, что в районе третий раз отклонили колхозный производственный план, предлагают невыгодные колхозникам изменения. Собеседники дружно соглашаются: нет, мол, доверия мужику. Говорят, между прочим, о том, что секретарь райкома груб с людьми, не считается с ними. «Как оглядит всех сверху да буркнет: «Начнем, товарищи! Все в сборе?» — Ну, душа в пятки уходит, сидим, ждем выволочки...», — рассказывает секретарь партийной организации. «Люди для него, — говорит он, — только рычаги». Ругают «район» за плохую постановку массовой работы, «клубы да читальни только в отчетах и действуют, лекции и доклады проводить некому». Все сходится на том, что в районе правды нет, что «нужна» она, оказывается, «только для собраний, по праздникам», для «почетного президиума».

Таково содержание первой части рассказа Александра Яшина «Рычаги». Согласитесь, что некоторые чрезмерные обобщения, вроде рассуждений о правде, странно звучат в устах коммунистов. Но вот появляется наконец пятый член партийной организации, местная учительница. Она привычно забивается в угол. Теперь можно начинать собрание. Поднимается секретарь партийной организации и без тени смущения говорит: «Начнем, товарищи! Все в сборе?» И сразу же, как пишет автор, все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир. Но это еще куда ни шло! Это все-таки внешняя сторона. Дальше начинается нечто такое, что невозможно и представить. Председатель колхоза, только что вместе с этими же людьми чествивший районное руководство за неправильные указания по производственному плану, начинает свой доклад теми же словами, над которыми смеялся несколько минут назад: «Я считаю, что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне...» Никто не уличил оратора в лицемерии. Напротив, с ним согласились все выступавшие в прениях. «Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания», — с недобрим юмором замечает рассказчик. И после всего этого он совершенно серьезно уверяет, что, как только закончилось собрание, «снова это были чистые, сердечные, прямые люди, люди, а не рычаги». Исключения не делается никому, в том числе и Щукину, который через месяц после приема в партию стал поговаривать, что ему теперь неудобно не продвигаться и... продвинулся в кладовщики. Любопытна и такая подробность. Приятель из сельпо прислал Щукину два килограмма сахара — после, мол, рассчитаемся, — и он, конечно, взял. «Взял-то я взял, — сказал Щукин после некоторого раздумья, — но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где все?» Видите, как легко, оказывается, попасть в правдолюбьи!..

Но дело, конечно, не в этом. Автор, как видно, задался целью художественно осудить формализм и казенщину в работе партийной организации. Только вопрос-то поставлен им с ног на голову. В самом деле, чем объяснить тот невероятный факт, что несколько человек, спокойно разговаривавших между собой о важных жизненных делах, немедленно, как только открылось их же собрание, превращаются в никчемных болтунов, говорящих заученными фразами и, самое главное, противоположное тому, что думают и говорят вне собрания? Почему же герои рассказа ведут такую двойную жизнь? Автор объясняет все это формализмом, казенщиной, навязанными со стороны, «свыше». Спору нет, формализм и казенщина действительно сковывают инициативу и вредят живому делу. Но в случае, описанном Яшиным, дело отнюдь не в формализме. О людях, с которыми на протяжении одного вечера происходят столь разительные превращения, можно сказать, что для них и само понятие партийности — лишь формальное понятие. Это настоящие сплетники и лицемеры, недостойные называться коммунистами. При чем же здесь коллективная форма работы? Любой коллектив — это люди, а не голая абстракция, которая будто бы сама по себе бывает хорошей или плохой, деятельной или казенной. Группка людей, умеющих только сплетничать, но не желающих «рисковать» своим покоем ради партийного дела, остается группкой обывателей, но не партийной организацией, сколько бы ни заклинали они формализм и казенщину. Увлечшись мыслью о защите «хорошего коммуниста» от «плохой организации», автор не замечает, как лицемерно и демагогично звучат нарекания его героев на «район», который-де не прислушивается к низам, не учитывает их опыт.

Может быть, автор действительно наблюдал нечто похожее в жизни. Но так ли уж трудно понять, что это не тот случай, который дает материал писателю для серьезного разговора о недостатках коллективных форм

общественной жизни? Коллектив здесь плох только потому, что плохи его члены. Правда, писатель относит действие рассказа к досъездовским месяцам, и его герои ждут решений XX съезда. Но, право же, прочитав рассказ, мы вовсе не уверены в том, что описанная в нем партийная организация будет способна активно и творчески проводить в жизнь решения съезда.

Герой поэмы «Нелегкий разговор», как уже было сказано, находился в особом, исключительном настроении, и многие неверные его мысли можно объяснить минутным порывом, личной обидой. Да и вообще о нем мы знаем очень мало. О героях рассказа А. Яшина тоже не много скажешь, это лишь бледные тени. Откровенно говоря, «Рычаги» лишь с большой натяжкой можно назвать художественным произведением. Но вот Лопаткин, герой романа В. Дудинцева «Не хлебом единым»¹, изображен весьма тщательно. Автор внимательно следил за каждым его шагом. И мы, пожалуй, можем сказать, что знаем о Лопаткине все. Все поступки, мысли, чувства Лопаткина есть, надо думать, действия и мысли зрелого, вполне уравновешенного и трезвого человека. Причем и человек-то он, если согласиться с автором, по всем статьям идеальный герой. Да, по роману, идеальный герой. И уму непостижимо, как могло случиться, что в числе защитников этой книги и поклонников Лопаткина оказались и некоторые активные противники «идеального» героя. Совсем недавно они с самым благородным негодованием разоблачали «идеальность» как основное зло литературы. Чем объяснить такой парадокс? Не тем ли, что ранее были просто идеальные герои, а Лопаткин — идеальный в мученическом венце? Очевидно, этот венец способен ослепить и бдительных воителей против идеального...

Но прежде чем перейти к характеру Лопаткина и сущности лопаткинщины, придется сделать небольшое отступление. Вспомним одну «дроздовскую» сцену.

Перед отъездом из Музги на работу в министерство Дроздов устраивает прощальный вечер, или, как он называет, «сабантуй». Когда жена спросила, не пригласить ли кого-нибудь из ее знакомых учительниц, Дроздов, не задумываясь, отвечает: «Н-не рекомендую... Потому что они, как бы тебе сказать... рабы вещей. Увидят и отождествят тебя и меня с теми вещами, которые нас окружают. У них нет таких вот часов, которые стоят на полу. Они всегда по этой причине будут свою зависть переносить на ничего не подозревающего человека. Как у Моцарта с Сальери получилось. Рано или поздно ты будешь изолирована от них, и не по твоей вине. Это тебе ответ на твой наболевший вопрос. Значит, так: не рекомендую звать учительниц. А впрочем, зови. Но это только ускорит процесс изоляции».

И когда гости собрались, конечно, без учительниц, в шумном веселье и обильных тостах не чувствовалось ни одной искренней, душевной нотки. Все они, годами вместе работавшие: управляющий угольным трестом, секретарь райкома, председатель райисполкома, директор совхоза, заведующая райторготделом, районный прокурор, — встретились, как чужие люди, и столовая Дроздовых походила скорее на привокзальный буфет, чем на квартиру, где встретились друзья. «Почему у тебя нет друзей?» — спросила жена, когда гости разошлись. И Дроздов с предельной ясностью завершил свою «теорию изоляции»: «Друзей у нас здесь быть не может. Друг должен быть независимым, а они здесь все от меня как-нибудь да завясят. Один завидует, другой бонится, третий держит ухо востро, четвертый ищет пользы... Изоляция, милая. Чистейшая изоляция! И чем выше мы с тобой пойдем в гору, тем полнее эта изоляция будет. Вообще, друг может быть только в детстве».

Полезно для дальнейшего разговора привести еще одну его самохарактеристику, высказанную пятью — шестью страницами позже. Перед

¹ См. «Новый мир», 1956 г., №№ 8, 9, 10.

тем, как сдать комбинат новому директору Ганичеву, Дроздов организовал настоящий штурм, не давая ни себе, ни людям отдыха на протяжении нескольких дней. «Надо дать перед отъездом такой удар, чтоб Ганичев никогда до меня не дотянулся. Это будет прощальный свисток Дроздова!» И, чувствуя, что жене не все ясно, он принял позу большого человека и объяснил: «Вот он я. Стою перед с-самим собою. Сейчас буду дополнять свой портрет описанием внутренней сущности... Я вижу в этом человеке очень много недостатков. Пережитков прошлого. Это человек переходного периода. Есть в нем остаточек того, что раньше называлось «честолюбие». И я не понимаю, как можно жить без него! Но человек будущего поймет. Я хочу работать лучше, чем Ганичев! И хочу, чтобы люди о моей работе были только хорошего мнения. Всегда с перевыполнением — это мое большое место. Еще: радуюсь повышениям и заслуженным наградам. Они — суть свидетельства моих качеств... И еще много во мне есть слабых мест — потому, что жизнь люблю!.. Как видишь, я еще молод и не чужд человеческих страстей. В коммунизм мне, конечно, хода нет. Я весь оброс. На мне чешуя, ракушки. Но как строитель коммунизма я приемлем, я — на высоте. Таково место этого человека в жизни». Как видим, Дроздов сам не только не тяготится своими недостатками, но определенно гордится ими и хотел бы, чтобы они были признаны его достоинствами, и притом собственными достоинствами. А в этом уже ничего нового нет. Сколько их, оголтелых индивидуалистов, с гордостью признавало свои недостатки, втайне рассчитывая на то, что их недостаткам поклонятся и что само это признание оценят!

В романе эгоист, честолюбец, карьерист Дроздов «идет в гору». По ходу событий и логике произведения он становится прямо-таки «непреодолимой силой» для тех, кто борется с бюрократом. Конечно, Дроздовы могут приносить вред нашему обществу, могут причинять боль отдельным людям. Но только тот, кто неправильно оценивает нашу действительность, может вообразить, будто люди такого типа представляют какую-то твердыню, стену, отделяющую наше Советское государство от общества!

Но предметом нашего разговора, как уже говорилось, будет не Дроздов, а Лопаткин, который, по всему видно, считается антиподом Дроздова. Вот и посмотрим, так ли уж противоположны эти образы.

Лопаткин окончил университет. Говорят, был хорошим студентом и хорошим товарищем. В школе, где он работал после университета, к нему сохранили самое искреннее уважение. А до учебы он был слесарем, жил в рабочей среде. Лопаткин — участник войны. Таковы краткие выдержки из «анкеты» Лопаткина. И хотя некоторые действующие лица протестуют против анкет и советуют «думать чувствами» и решать «с первого взгляда»: «он симпатичен, он приятен, я ему верю», — а роман исполнен «антианкетного» пафоса, в данном случае «анкетные данные» могут пригодиться, и берем мы их все-таки из романа.

Но вот Лопаткин увлекся литейным делом, сконструировал машину для отливки труб. Изобретение было признано, изобретателю выдано авторское свидетельство. Ему сообщают, чтобы он срочно увольнялся с работы и выезжал в Москву проектировать машину. Но на третий месяц бесплодного обивания «порогов министерства» Лопаткин был приглашен заместителем министра Шутиковым (впоследствии довольно значительное лицо в романе), который сообщил, что «урезали финансы» и машиной заниматься сейчас не будут. Рассказывая об этом, Лопаткин довольно ясно дает понять, что дело не в финансах, а в том, что его проект послали на отзыв «Колумбу литейного дела» Авдиеву и тот отклонил. Отклонил потому, что незадолго до того, как Лопаткину выдали свидетельство, Авдиев заявил собственную машину для отливки труб. «Ничего я не хочу сказать», — многозначительно отвечает Лопаткин на слова Дроздовой: «Вы хотите сказать, что он у вас...» Так начались мытарства изо-

бретателя. И каждый круг «ада», который он проходит, замыкается на Авдиеве с его институтом. Любопытно заметить что Лопаткин не обратился со своим предложением в какое-нибудь другое министерство, к профилю которого его машина могла бы оказаться ближе. Ведь не сошелся же в самом деле свет клином на Шутикове с Дроздовым. Право же, такая «верность» одному министерству усиливает впечатление нарочитости. Возникает подозрение, будто автор старательно оберегает своего героя от успеха его дела, заботясь больше об эффектности драмы, чем об истине. Люди, которые должны заинтересоваться изобретением Лопаткина, хотя бы лично заинтересоваться (награды, повышения и т. п.), и имеют власть, чтобы помочь ему, — не владеют достаточными знаниями, позволяющими компетентно оценить изобретение. Они обращаются за отзывом к тому же Авдиеву, и тогда все начинается сначала. Это действительно возмутительная картина волокиты и вреда монополизма в науке, которые у нас встречаются и против которых мы ведем решительную борьбу. Но автор не замечает этой борьбы и, как видно, растерявшись перед двумя — тремя фактами, спешит предложить свои в высшей степени гуманные, как ему кажется, но до смешного наивные рецепты «думать чувствами» и доверять по симпатии. Хорош был бы министр, если бы он руководствовался такой наивной моралью там, где речь идет о государственных деньгах! Да и что он, в самом деле, удельный князь со своей казной? Автор и его герой ратуют против всевластия отдельных лиц лишь постольку, поскольку в данном случае лица оказались противниками их дела и, по-видимому, были бы удовлетворены, если бы они прониклись симпатией к герою, достаточной для того, чтобы рискнуть затратить деньги на производство опытного образца...

Но проследим за Лопаткиным дальше. После того, как ему отказали в министерстве, он уже не возвратился к работе в школе и перешел на положение «самодеятельного» конструктора. Лопаткин так объясняет свое решение: «Не поступил потому, что я должен был ежедневно писать, доказывать, что Колумб неправ... И мне нужно все это доказывать — вот почему я не могу поступить на работу. И, кроме того, я разрабатываю новый вариант, а это — тысяча четыреста деталей и двенадцать тысяч размеров, увязанных между собой».

С этого момента писатель охотно выставляет напоказ мученичество, подвигничество человека, одержимого благородной идеей. У него нет ватмана, чтобы чертить; он не получает продовольственных карточек и питается картошкой с серой солью на клочке газеты, иногда запивая мутным морковным чаем; у него ботинки еле держатся на заплатках, потерты локти пиджака; он исхудал и от переутомления и недоедания у него часто идет из носа кровь... Мимходом брошенное замечание, что в университетские годы Лопаткин был чемпионом по бегу, «деликатно» подчеркивает меру страданий этого человека. Вскоре обнаружилось боли в области сердца, повысилось давление, и врач, не подозревая, как много делает он для *образа* Лопаткина, категорически предписывает: «Спать и гулять, гулять и спать и ни о чем не думать», кушать фрукты, мяса и вина не употреблять. Еще больше страданий приходится на долю Лопаткина в период его жизни у профессора Бусько. Нам подробнейшим образом объясняют, как регулируется меню двух изобретателей в пределах от картошки с рыбьим жиром до рыбьего жира без картошки, как добывают деньги хоть на такое питание эти люди: то они берутся перекрывать крышу, то разгружают вагоны и получают за это капусту, то собирают пустые бутылки...

Однажды, вспоминая свой разговор с Дроздовым, Лопаткин рассуждал: «Сидит перед тобой русский человек и грозит тебе великой опасностью — тем, что ты можешь стать в своей стране гением! Нельзя, нельзя быть рекой, можно быть только каплей». Да в романе-то все и направлено на то, чтобы доказать, как трудно в нашей стране тому, кто подобен

реке и не хочет, да и не может стать каплей. Лопаткин, конечно же, река, а не капля...

Мы напомнили только несколько деталей, которые рисуют картину материальных лишений, физических страданий героя. И хоть не хлебом единым жив человек, все же, когда приходится думать о хлебе, мало времени и сил остается для того, чтобы вынашивать великие идеи. Еще горше страдания нравственные. Их и перечислить невозможно, потому что весь роман — сплошная драма Лопаткина, начинающаяся с отказа строить его машину после того, как все уже казалось согласованным и решенным, и кончающаяся арестом и ссылкой по ложному обвинению.

Какова же причина драмы Лопаткина и где те средства, которые могут оградить подобных ему людей от страданий, а главное — сохранить их время и силы для полезного дела? Само собой понятно, что роман о случае с изобретателем не может не ставить таких вопросов, иначе он уже не роман, а нечто иное, похожее на сплетню.

Каждому понятно, что советы двух влюбленных в Лопаткина женщин: верить с первого взгляда, верить по симпатии и решать чувствами — трогательные, милые советы — не могут быть ответом на возникающие вопросы. Если законно действовать по личным симпатиям, то, очевидно, можно руководствоваться и чувствами антипатии. А кто может отказать Дроздову, или Шутикову, или авдиевской свите в отсутствии таких чувств к Лопаткину?

Есть лишь один разумный ответ на возникающие вопросы, если отказать от панических обобщений в духе Бусько и Лопаткина и принимать факты такими, как они есть. Но разумный ответ романом решительно исключается, потому что драма Лопаткина и сама фигура этого героя предстали бы с несколько иной, очевидно, невыгодной для автора стороны. Тот ответ, который мы имеем в виду и который напрашивается сам собой, заранее квалифицируется защитниками романа как дроздовский. Это же в уста Дроздова, сторонников Авдиева и всех, с кем сталкивается Лопаткин, вкладываются слова о коллективе, о содружестве ученых и другие действительно, а не по-дроздовски, утвердившиеся понятия нашей жизни. Это они, а не друзья Лопаткина называют его кустарем-одиночкой и считают его судьбу судьбой индивидуалиста. И Лопаткин, и Бусько, и Араховский ненавидят Дроздова. Но вместе с ненавистью к Дроздову у них возникает неприязнь и к понятиям нашей жизни, которыми тот спекулирует в своих целях. Они отвергают их как фальшивые, удобные для бездарностей, то есть «капель», не могущих стать «реками».

И тут нам придется воспользоваться анкетой, которой автор все-таки снабдил своего героя. В ней даны такие сведения, которые говорят, что герой в свое время жил в коллективе и был знаком с лучшими формами человеческого общежития. Но при первом же столкновении с препятствиями, с несправедливостью он избирает самый невероятный и самый, скажем прямо, бесплодный путь — путь одиночки. Или и впрямь он почувствовал в себе гения, которому смертные не помощники? Обратился ли Лопаткин непосредственно к тем рабочим, которые вручную отливали трубы на Музгинском комбинате, к коллективу и его организациям? Нет. Нашелся один Сьянов, который тоже «немножко с ума сошел», заболел машиной. Именно нашелся. После одной из серии неудач Лопаткин с горечью думает, что придется идти на завод слесарем, *придется* не потому, что там могут помочь, а потому, что надо жить на что-то. Но тут же отбрасывает эту мысль: ведь это оторвет у него время от нового варианта и от писания жалоб во все инстанции, в том числе и в «самые высокие», как говорит он. Работа на заводе кажется ему только самым крайним выходом, равноценным отказу от изобретения и изобретательства. Ему ни разу не приходит мысль о том, что там, именно среди рабочих и инженеров-практиков, можно и следует искать не то что единственно верный, но хотя бы возможный путь борьбы за машину. И если бы Лопаткин не был инди-

видуалистом, он должен был бы понять, что дело идет уже не столько о его машине, сколько о том, что нужно сделать, чтобы устранить бюрократические препятствия для других машин, для технического прогресса вообще. Ведь в этом, а не в труболитейной машине главный смысл дела.

Поразительно то, что нигде на протяжении всего романа ни в мыслях самого Лопаткина, ни в мыслях его случайных друзей не проскальзывает желание обратиться к еще одной силе, которая цементирует наше общество, — к партии. Почему бы не обратиться к партийной организации комбината, почему бы не пойти на завод специально для того, чтобы опереться на силу партийного коллектива, есть же, наконец, партийный комитет в министерстве, где работают волокитчики Дроздов и Шутиков, в институте, где засели монополисты? Или действующие лица романа считают бесполезность обращения к партийной организации само собой разумеющейся? И тут мы не можем не высказать с горечью и болью упрека уже не героям книги, а автору, — упрека в том, что критиковать теневые стороны нашего общества и вообще наше общество, не считаясь с его организацией, с его особенностями, с его силами, значит идти на заведомое искажение истины.

Но, справедливости ради, нужно сказать, что герой романа размышляет о путях борьбы за то, чтобы «вручить народу машину». Однажды Бусько затеял такой разговор. «Беда в том, Дмитрий Алексеевич, что между нами и этим человеком (то есть простым, обыкновенным человеком. — *Н. Ш.*) стоит посредник, существо с важной осанкой, считающее себя служителем науки, государства. Оно добросовестно из года в год читает лекции по одному и тому же конспекту, консультирует, рецензирует. Или вот — хмурый начальник, готовый тысячу лет штамповать одну и ту же алюминиевую ложку... Этот народец загородил нас от настоящего человека, который, между прочим, хотел бы иметь и ваши трубы и мои огнегасители...» Это все констатация, — ответил Лопаткин. «Вы скажите, как бороться!» И на слова старика, что нужно выработать хорошую тактику и не выдавать себя врагу, добавил: «Но ведь, маскируясь от врагов, маскируешься и от друзей! Открыто надо в бой идти, только открыто!» И дальше повторил: «Нет! Не прятаться и не маскироваться! Мы должны быть откровенно самими собой, только так мы сможем находить друг друга». И про себя думал: «...Поближе к человеку — пусть даже вот к этому, с кнопками на дверях (о соседях. — *Н. Ш.*)! Буду до конца искать в нем доброту и верность — они никуда не делась, без них жить нельзя. Верю в них». И действительно, как бы в подтверждение этой веры, кто-то приносит изобретателям шесть тысяч рублей, как оказалось, от Дроздовой, а еще до этого неизвестный друг вложил в их сумку десятка два картофелин. Есть-таки добрые люди на свете, — постепенно убеждается Лопаткин. Мало-помалу за шесть лет таких друзей набирается около десятка.

Как же, скажут нам, можно говорить об индивидуализме Лопаткина? Но ведь три, пять, десять человек, пусть самых хороших, еще не есть коллектив, а лишь пять, десять одиночек. Коллектив — это уже новое качество, это уже звено общества, его сила. Такой истины ни Лопаткин, ни, как видно, автор не признает. Вслушайтесь в эти внутренние душевные движения Лопаткина: «Он стал покупать дешевые билеты в консерваторию и там, под потолком, сидел в полном одиночестве, и в нем оживали чувства давно умерших великих борцов и страдальцев. Чувства, к счастью, записанные и потому живые навсегда. Он слушал самые искренние, самые горячие слова, обращенные прямо к нему... Играли Второй концерт для фортепьяно с оркестром Шопена. «Сперва он негромко обратился к Дмитрию Алексеевичу, и тот, вздрогнув, почувствовал, что это говорят ему. Они сразу поняли друг друга — и тогда в полный голос зазвучала повесть, которая была и повестью Дмитрия Алексеевича. Он увидел героя, сгорающего, как комета в темном небе, маленького человека с рукой десятилетнего мальчика и с гигантской силой души, который собой,

своей жизнью хочет пробить что-то для множества людей». В другой раз Лопаткин услышал то же самое у Рахманинова в его Втором концерте. Вот такие мысли навеивает музыка «великих страдальцев» прошлого «великому страдальцу» нынешнему Лопаткину. Что ни говорите, а это все-таки ближе к индивидуализму, чем к идеализму в том его смысле, который выражается девизом «Не хлебом единым». Ближе потому, что страдания Лопаткина не есть страдания неизбежные, обусловленные общественным строем, как у героев великих композиторов. Есть в них что-то сродни страданиям аскетов и отшельников, надеющихся попасть в сонм святых.

И самое удивительное то, что автор не понимает, не хочет понять, что корень трагедии Бусько и Лопаткина не во всесии дроздовых — шутиковых, а в том, что они сами индивидуалисты, что они не верят в коллективные формы общественной жизни и потому преувеличивают до панических размеров значение своих личных неудач и силу своих противников. Общественный кругозор индивидуалиста всегда страшно ограничен, и потому каждому *своему* случаю он склонен придавать всеобщее значение. Но писатель не имеет *художественного* права бездумно следовать за своим героем. Вот Лопаткин увидел в газете статью Шутикова «Шире дорогу новаторам!». «После первого же абзаца нахмурился и угрожающе зашептал: «Ч-черт... Ах, подлец... Нет, нельзя так оставить!» Весь день, до позднего вечера писал письмо редактору газеты, которое начиналось так: «Почему, — писал он, — почетная возможность обобщать достижения нашей техники на страницах вашей всеми уважаемой газеты, почему эта роль предоставлена тов. Шутикову?.. Опросите тысячу изобретателей — тех, кто имел дело с тов. Шутиковым, и я уверен, 95 процентов из них скажут, что тов. Шутиков им не помогал, а лишь топил изобретения». Вот так, под горячую руку, не задумываясь, Лопаткин говорил *за всех*, обо всем, исходя только из случая с ним. А что он знает о Шутикове, кроме того, что тот отверг по выводам института машину Лопаткина, да что у Шутикова «золотые очки» и неприятные «барские» манеры? Решительно ничего больше. И почему-то автор даже не намекнул на то, что суждение о человеке по таким признакам может оказаться опрометчивым. Или «рекам» простительно судить о «каплях» и на таких основаниях? Спору нет, по всему тому, что мы узнаем постепенно о Шутикове, можно не сомневаться, что этот человек не мог помогать новаторам, что этот человек не на месте. Но ведь Лопаткин-то в то время знал меньше! Нельзя не удивляться той легкости, с которой автор соглашается со всеми мыслями своего героя. И тут он допускает непростительную необъективность и художественную недобросовестность. «Либо он дурак, либо он преступник» — других слов у Лопаткина для тех, кто его не поддерживает, нет. Всю работу министерства, всех людей Лопаткин рассматривает только через призму успеха или неуспеха своего изобретения. Выходит так, будто нет никого на свете, кроме изобретателей, и тех, кто их травит. Лопаткин и вместе с ним романист не могут даже предположить, что министр, например, может руководствоваться какими-нибудь иными соображениями, кроме желания удержаться на месте, что работники суда могут думать и об интересах государства, даже когда они ошибаются, а не только о служебной карьере и собственном благополучии. Если человек не допускает, что и другие люди могут иметь честные побуждения, если все их поступки он объясняет их эгоистическими расчетами, выгодой, то кто он сам, скажите? Идеалист ли? Не спутал ли он идеализм с индивидуализмом, как Дроздов все время путал базис с базой?

Занятый только своим делом, видящий мир только из-за чертежной доски, Лопаткин делит людей только на тех, кто создает, и на завистников, которые при случае могут и обокрасть, словом, на Моцартов и Сальери. Его обкрадывают на каждом шагу, во всем сбываются зловещие пророчества Араховского и Бусько, после чего и помешательство последнего, прячущего в сундук свои изобретения от «экономического шпионажа»,

перестает казаться помешательством. Но идеалист Моцарт и в настоящем Сальери не подозревал «Сальери», а современному идеалисту Лопаткину в каждом учреждении, в каждом человеке, с которым он имеет дело, чудится «Сальери». Идеалист Лопаткин старательно ведет свою канцелярию — учет всех исходящих жалоб и входящих ответов-отказов. Бывало, приходилось писать письма прямо в приемной министра, и там Лопаткин не забывал снять для себя копию. Эта своеобразная «книга жалоб и ответов» становится впоследствии предметом особого интереса писателя, ради «спасения» ее завязываются даже детективные комбинации. Она, оказывается, сыграла немаловажную роль в освобождении Лопаткина и в его победе.

А, в самом деле, что победило в истории Лопаткина, что помогло ему избежать судьбы Бусько или тех других, которые стали скромными чертежниками? Какие-нибудь общественные силы, какие-нибудь положительные стороны наших общественных отношений или изменения к лучшему в них? Нет, этого не заметно по роману. Только личная воля, необыкновенная настойчивость, почти легендарная работоспособность, то есть то, что люди, имеющие *только* способности, с завистью называют пробивной силой. Победило не дело, не справедливость и не лучшие принципы нашего общества, а победила личность. Сильная личность.

Если это действительно разумная борьба, то вполне естествен вопрос: чем обогатился в ней победитель, каким опытом? Пожалуй, только уверенностью в том, что мир населен себялюбцами, эгоистами, шкурниками, которым не клади палец в рот, а еще больше берегись подставить им шею. По крайней мере, это бесспорно в отношении всех работников государственных учреждений и официальных лиц, с которыми герой имел дело. Из такой борьбы победители выходят со стиснутыми зубами, готовые подозревать в каждом встречном возможного противника, и наверняка противника, если он почует в этом деле выгоду.

Главный вывод, к которому приходит Лопаткин, сводится к тому, что в обществе есть лишь очень небольшое число творцов-идеалистов, работающих не ради личной выгоды, а все остальные палец о палец не ударят, не спросив, что на этом можно заработать, иначе говоря — «рабы вещей», как высокомерно называл их Дроздов. Одни — творцы, другие — потребители. Одни — со второго этажа, другие — первогоэтажники. О, это очень красноречивая сцена, когда Лопаткин и Бусько рассуждают на крыше дома, глядя вниз на улицу! «Смотрите, как отлично все видно! — кричал Бусько Лопаткину. — Вот так видит свое дело открыватель нового. Он поднялся как бы на второй этаж здания и видит оттуда неудобные дороги, которыми люди идут к благополучию, и ухабы, где они разбивают носы. Он говорит: «Смотрите, надо идти вот так!» Он не может создавать ценностей *первоэтажных*, потому что для него это — пройденное... Забыв о себе, человек второго этажа спешит охватить и передать народу все, что видит. Он создает величайшие ценности и говорит ученым-первоэтажникам: популяризируйте, размножайте! А те не понимают! Они ходят вниз, в кругу вещей знакомых, привычных, и гонят на-гора старинку... А открывателя хором объявляют сумасбродом... Завтра начну производить ценность сугубо первоэтажную...» — заканчивает Бусько, имея в виду ремонт крыши. Лопаткин видит дом, где живет любимая им девушка, задумывается. На расспросы Бусько отвечает так, будто продолжает начатые им мысли: «Она целиком вся на первом этаже... Она не из мечтателей, не из романтиков... Я не могу зайти к ней без серьезного достижения, причем это должно быть в первоэтажном плане, то есть признано и напечатано в газетах».

Для понимания многого в романе эта сцена значит не меньше, чем упомянутый разговор Лопаткина относительно «рек» и «капель». Может быть, и возможностями слиться с коллективом, войти в рабочий коллектив, на который наверняка можно было бы опереться, Лопаткин так

упрямо пренебрегает потому, что это означало бы спуститься этажом ниже...

Но такие выводы не могут радовать нас, причисленных к ведомству смертных первоэтажников. И мы, в интересах нашего социалистического дела, будем вести борьбу не только против «дроздовщины», но и против «лопаткинщины», потому что по своим истокам, по сущности своей это явления одного порядка.

Конечно, Дроздов и Лопаткин — разные люди, но принципы оценки поведения людей в обществе у них одинаковы. Только Дроздов и себя причисляет к тем, чьи действия можно оценить как эгоистические, а Лопаткин этого не скажет. Но это уже разница между «этажами». «Дроздовщина» — это отношение к миру, как к скопищу эгоистов и себялюбцев. Лопаткин судит о людях так же, выделяя только «второй этаж» с его многочисленными жильцами, живущими «не хлебом единым». Позицию тех, кто считает Лопаткина положительным героем, антиподом Дроздова, нельзя назвать последовательной. Кто принимает Лопаткина, тот никакой не борец против Дроздова, ибо это означает принимать «хороший» индивидуализм взамен «плохого» индивидуализма, не больше.

В отличие от автора романа и его неразборчивых сторонников мы не испытываем ни малейшего страха перед «дроздовщиной», ибо надо находиться действительно на позициях Лопаткиных, то есть в состоянии «чистой изоляции» или, вернее, самоизоляции, чтобы впасть в такую панику, какой проникнут роман. Наша сила — в единстве общества, руководимого его высшей организацией — Коммунистической партией.

Из всего этого неизбежно возникает вопрос, не забывают ли горячие сторонники романа «Не хлебом единым», когда говорят с паническим ужасом о наших недостатках, что социализм строится обыкновенными, а не идеальными людьми и что сам социализм не есть конечная цель нашего развития? Не теряют ли они историческую перспективу и не слишком ли легко забывают столь свежий опыт прошлого, когда осуждают наше общество за то, что реки здесь не молочные, берега не кисельные, а люди на тех берегах отнюдь не ангелы? Исходить из таких позиций — значит потерять реальную почву и уподобиться Дон Кихоту, а в литературе — оставить почву художественного реализма. Критика с таких позиций неизбежно будет отдавать демагогией.

Сейчас самое реальное, самое живое дело нашей литературы заключается в том, чтобы всемерно укреплять социалистические начала сознания, общественной организации, морали и прежде всего начала коллективизма.

Говорят, будто образом Лопаткина В. Дудинцев развивает традиции Гоголя, взявшего под защиту Акакия Акакиевича, маленького человека. До чего же легко орудуем мы этим словом «традиция», до того легко, что начали спор: в самом ли деле гоголевские, а может быть, горьковские? Ни о каких традициях здесь речи быть не может. Гоголь защищал Акакия Акакиевича от самодержавно-крепостнического строя, защищал беззащитного, маленького человека. В свое время еще революционер Чернышевский писал, что подобные Акакию Акакиевичу люди и не стоят того, чтобы их защищать, потому что человек должен уметь сам за себя постоять. В социалистическом же обществе лишь безнадежно отставшие люди могут взять на себя роль адвокатов в тяжбе индивида против общества. Свобода личности не есть свобода от коллектива, от общества. Подлинная свобода гарантируется только социалистической общественной организацией. Сейчас лишь тот гуманист, кто укрепляет коллектив, кто учит коллективизму. Сейчас лишь тот помогает развитию личности, кто учит ее умению сливать свою жизнь с народом, общее дело всех трудящихся принимать как свое личное дело.